

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЭММЕ



Чего нам не постичь, что выше нас, чего нельзя добиться —  
для безумцев, или для тех, кто слышит речи их и верит.  
*“Вакханки” Еврипида в переводе Чарльза К. Уильямса<sup>1</sup>*



Дитя мое, смерть с жизнью не сравнится.  
У смерти кубок пуст, а жизнь хранит надежду.  
*“Троянки” Еврипида в переводе Гилберта Мюррея*

1 Поскольку переводы на английский, использованные автором для эпиграфов, не совпадают по смыслу с существующими переводами трагедий Еврипида на русский язык, эти цитаты даны в переводе с английского с указанием автора перевода. — *Здесь и далее прим. перев.*



# СИРАКУЗЫ

412 Г. ДО Н. Э.



**И** вот Гелон мне говорит:  
— Пойдем покормим афинян. Как раз подходящая погода, чтобы кормить афинян.  
Гелон правду говорит. Потому что солнце так и пылает в небе, белое и крошечное, и камни жгутся, когда идешь. Даже ящерики прячутся, выглядывают из-под камней и деревьев, как бы говоря: Аполлон, ты, сука, издеваешься? Так и вижу, как теснятся афиняне, как их глаза мечутся в поисках тени и как они ловят воздух пересохшими ртами.

— Правду говоришь, Гелон.

Гелон кивает. Мы берем с собой шесть мехов — четыре с водой, два с вином, — горшок оливок и две головы вонючего сыра, который делает моя мамка. О, прекрасен наш остров, и я иногда думаю, что теперь, когда мастерская закрылась, я мог бы все изменить. Что, может, я мог бы взять и уехать из Сиракуз и найти себе домишко у моря — никаких больше темных комнат, глины и красных рук, только море и небо, и когда я прихожу домой со свежим уловом за плечом, меня ждет она — кто бы она ни была, — ждет и смеется. Я слышу этот смех, и он такой нежный и хрупкий.

— Эх, Гелон, как же мне сегодня хорошо!

Гелон смотрит на меня. Он красив, и глаза у него цвета моря на мелководье, освещенного солнцем. Не цвета дерьма, как мои. Он открывает рот, но ничего не говорит. Ему, Гелону, часто грустно — он будто видит мир сквозь дымку, никакой яркости. Мы идем дальше. Хотя афиняне раздавлены, их корабли пустили на растопку, а их непогребенных едят собаки, гоплиты все равно делают обход. На всякий случай. Не далее чем вчера Диокл сказал, что с этими афинянами никогда не угадаешь: со дня на день жди новых отрядов. Может, он и прав. Спартанцы почти все ушли. Говорят, они направляются на самые Афины, приготовились их осадить как следует. Закончить войну. Но некоторые еще болтаются. Они скучают по дому, и пользы от них никакой. Как раз четверо идут перед нами, и красные плащи тянутся за ними кровавым следом.

— Доброе утро!

Они оглядываются. Только один отдает честь. Наглецы они, спартанцы, но мне сегодня хорошо.

— Долой Афины!

Теперь отдают честь двое, но как-то без искры. Они усталые и грустные, прямо как Гелон.

— Я вот что скажу: Перикл — козел!

— Лампон, так Перикл же умер.

— Ну да, Гелон, помню. Так я вот что скажу: Перикл —дохлый козел!

А теперь двое спартанцев смеются, и все четверо отдают честь. О, какой же я сегодня довольный! Не знаю, как объяснить, но чувство славное. Лучшие чувства — такие, которые не объяснишь. А мы еще даже афинян не покормили.

— В какой карьер сегодня идем, Гелон?

Мы стоим на развилке, так что надо выбирать. Гелон размышляет.

— Лаврион? — наконец говорит Гелон.

— Лаврион?

— Ну, думаю, да.

— Лаврион!

Идем налево. Лаврион — так теперь называется главный карьер. Кто-то подумал, смешно будет его называть в честь того самого серебряного рудника в Аттике, благодаря которому у афинян нашлись средства на вылазку. Ну имя и пристало. Это огромная яма, а вокруг нее скалы из молочно-белой извести, такие высокие, что только в одном-двух местах забор понадобился. У одного из них ворота, там два стражника расселись себе на земле, в кости играют. Гелон дает им мех с вином, и они нам машут рукой, чтоб проходили. Тропа вниз извилистая, такая, что того и гляди ногу сломаешь. Гелон, когда на него находит муза, говорит, что она “как змей извивается бурый”. Афинян мы еще не видим, но уже чуем. Тропа такая кривая, что мешает разглядеть весь карьер, но запах тот еще: густой, гнилой, в воздухе от смрада почти туман. Я останавливаюсь — глаза слезятся.

— Как будто хуже обычного.

— Так жара ведь.

— Ну да.

Я зажимаю нос, и мы идем дальше. Их меньше, чем в прошлый раз. Если так пойдет дальше, к зиме вообще никого не останется. Сразу вспоминаю вечер, когда они сдались. Несколько часов шли дебаты. Диокл ходит туда-сюда, рычит: “Этих ублюдков семь тысяч, куда мы их всех денем?” Тишина. Тогда он опять спрашивает. На этот раз придурок Гермократ что-то бормочет про договор. Да хрена с два, думаю я, и Диокл то же самое говорит. Не теми же словами, но о том же. Спрашивает: “Что же нам, с трупом договариваться?” Кругом смех, все тычут пальцами, и Гермократ заваливает хлебало и садится. А все это время Диокл так и ходит, так и спрашивает: что нам делать? Тишина. Только теперь

пульсирующая тишина. Вот-вот лопнет. И тут он перестает ходить; говорит, кое-что придумал. Кое-что новое, необычное. Такое, чтоб вся Греция знала, что мы тут не в игры играем. Что мы — Сиракузы, и мы никуда не денемся. Мы хотим знать? “Хотим, Диокл!” Но он качает головой. Нет, это уж слишком. Слишком необычно. Пусть кто-то еще выскажется. Но уже поздно. Мы же Сиракузы, и мы никуда не денемся, и так мы ему и говорим. Так что он наклоняется и шепчет. Ни звука. Только губы шевелятся. “Диокл, мы тебя не слышим!” И он говорит. Тихо, но так, что можно разобрать: “Посадите их в карьеры”. А потом кричит: “В карьеры!” И скоро все Сиракузы дрожат от этих двух слов: в карьеры.

Ну да, так мы и сделали.

Издаലെка афиняне напоминают множество рыжих муравьев, копошащихся на камнях, хотя не очень-то они и копошатся. Просто лежат, или сидят на корточках, или ползают, ищут тенек. Хотя, если честно, зрение у меня не лучшее — те, которые меньше всего шевелятся, может, вообще мертвые.

— Доброе утро!

Некоторые поднимают головы, но никто не отвечает на мое приветствие. Теперь, когда прошло немного времени, кое-какие горожане думают, что мы были неправы. Что держать их в ямах — это уж слишком, что это уже не война. Говорят, надо их просто убить, или взять в рабство, или отправить домой — о, но мне ямы нравятся. Они — как напоминание, что все рано или поздно меняется. Помню, какими афиняне были год назад: под лунным светом броня переливалась, как волны, от боевых криков не спалось по ночам и выли собаки, а еще были корабли, сотни кораблей скользили вокруг нашего острова, как великолепные, готовые к пиршеству акулы. Ямы

доказывают, что ничто не вечно. Так говорит Диокл. Доказывают, что слава и могущество — лишь тени на стене. О, а как мне нравится запах! Ужасный, но чудесно-ужасный. Ямы пахнут победой — и чем-то бóльшим. Каждый в Сиракузах это чувствует. Даже рабы чувствуют. Богатый или бедный, свободный или нет — вдохнешь запах ям, и жизнь сразу кажется богаче, чем была, одеяла — теплее, еда — вкуснее. Ты на правильном пути — ну, или уж точно на лучшем, чем афиняне.

— Доброе утро!

Бедолага видит мою дубинку и поднимает руки. Затем — поток слов; большую часть я не понимаю, потому что он слабо хрипит, но разбираю “Зевс”, “пожалуйста” и “дети”.

— Не бойся, — говорю я. — Не карать мы пришли — хотя вы, афинские псы, заслуживаете кары. Мы с Гелоном милосердны. Мы пришли...

— Заткнись.

— Да чего, Гелон? Я правду говорю.

— Тихо ты.

Я усмехаюсь:

— О, вижу, опять на тебя нашло.

Он уже стоит на коленях рядом с бедолагой, дает ему воды:

— Еврипида знаешь?

Тот присасывается к меху, как к сосцу Афродиты, — вода стекает по бороде. Он розовый. Прямо розовый. Они почти все розовые, а некоторые вообще красные.

— Еврипид, приятель. Знаешь что-нибудь из Еврипида?

Тот кивает и сосет дальше. Другие афиняне подтягиваются. На ногах звякают кандалы. Их больше, чем мне казалось, но все равно меньше, чем в прошлый раз.

— Вода и сыр, — говорит Гелон, — любому, кто знает строки из Еврипида и может прочесть! Если из “Медеи” или “Телефа”, еще и оливок дам.

— А Софокл? — спрашивает крохотное беззубое создание. — “Царь Эдип”?

— На хер твоего Софокла! Гелон что-то говорил про Софокла? Ты...

— Заткнись.

— Да ладно, Гелон, я уж так.

Гелон оглашает условия:

— Софокла не надо, и Эсхила, и других афинян. Вы их читайте, если захочется, но вода с сыром — только за Еврипида. Ну что, приятель? Что расскажешь?

Тот, кто пил, прокашливается и пытается встать ровно. Зрелище жалкое. Как бы ни старался, у него не выходит. Голова заваливается, покачивается туда-сюда, как зрелый плод на ветру.

Он говорит:

— Э-э, но мы должны понять, что царь Приам...

Он замолкает.

— И всё?

— Прости, я знал еще, но ничего не выходит. Понимаешь, у меня голова разбита, и я забываю лица, я даже не помню... Клянусь, я знал еще.

Мужчина закрывает лицо ладонями. Гелон похлопывает его по плечу и дает отпить в последний раз. Афинянин, кажется, плачет, но все сосет бурдюк. Вода вроде вливается в тело, но вместе с тем и выливается.

— Кто-нибудь может лучше? Оливок за “Медею”?

Гелон без ума от Еврипида. За этим он сюда и приходит. Мне кажется, он был бы почти что рад победе афинян, если бы она побудила Еврипида к нам заскочить и поставить представление-другое. Однажды он потратил целый месяц жалованья и нанял старика-актера, чтобы тот пришел в мастерскую и играл сцены, пока мы лепим горшки. Старший сказал, что производительность страдает, и вышвырнул ак-

тера за дверь. Но Гелон не сдался. Велел актеру кричать реплики с улицы. Сквозь рев печи доносились обрывки стихов, и, хоть в ту неделю мы и сделали меньше горшков, они были необычной, красивей. Это все было до войны — теперь актер умер, а мастерская закрылась. Я смотрю на Гелона. Голубые глаза, большие и беспокойные. Над головой кусок сыра. Орет что-то про оливки. Гелон вообще без ума. Даже без всякого Еврипида.

Вызываются многие, но, когда доходит до дела, большинство спотыкается, замолкает и жалуется на боль в голове и жажду, а то и вовсе валится с ног, так что от каждого мы слышим по строчке. Если повезет, то две. Один притвора начинает читать сцену, где за Медеей ухаживает Ахилл, а даже я знаю, что это чушь собачья. От Медеи до Ахилла много времени прошло. Она же с Ясоном была.

— С Ахиллом быстроногим мне не быть! Клянусь Элладой, мой отец не даст благословения. О, что нам делать...

Гелон поднимает дубинку, и притвора убирается подалее. Его место занимает другой. Этот хоть вспоминает про Ясона, но читает отрывок, который Гелон уже знает. Впрочем, оливок за старания ему все равно перепадает.

День идет своим чередом. Солнце толстеет, наливается, как желток, и жар уже не так яростен. На голубом появляются мазки розового и красного. Я оставляю Гелона и иду гулять по ямам. По идее, я ищу актеров. Гелон расщедрился — сказал, что вернется с мешком зерна, если найдутся пять афинян, чтобы сыграть сцену из “Медей”. Но он хочет, чтобы они ее по-настоящему сыграли. Вроде как поставили. Одного актера найдет — уже, считай, повезло. По этим бедолагам смерть плачет. Думаю, в худших краях Аида можно увидеть что-то похожее. Скелеты с волосами и намеком на кожу. Кроме волос, единственное, что у них разного, — глаза. Остекленевшие самоцветы, которые от умирания ка-